

## СОДЕРЖАНИЕ

«Нас четверо...» (предисловие) .....	4
«Люблю эту бедную землю...» (Осип Эмильевич Мандельштам) .....	7
«А мне за песню — две слезы...» (Марина Ивановна Цветаева) .....	76
Скорбный дух (Анна Андреевна Ахматова) .....	134
Юродивый (Борис Леонидович Пастернак) .....	215

## «Нас четверо...»

Слово, испытующее сердца и просвечивающее души, поэзия — кому и зачем она нужна? А поэтов, этих провидцев сокровенного и глашатаев запретных истин, как и почему терпит лукавая, лицемерная власть?

Пастернак, Ахматова, Мандельштам и Цветаева — Робинзоны русской поэзии, выброшенные Октябрьской бурей на безлюдный остров советской действительности. Одинокое одиночеством гения, просвещённости и благородства, они были изначально обречены на гибель. Дикое, страшное, враждебное окружение сблизило их, сбило в дружную кучку. И всякий раз, озираясь по сторонам в поисках поддержки, неизменно убеждались в предельной ограниченности своего круга: «Нас четверо...»

«Не трогайте этого юродивого», — однажды сказал Сталин своим ретивым «опричникам», которые были уже готовы расправиться с Пастернаком. Спасительная рекомендация. На Русской земле во все века только юродивым дозволялось говорить правду. Да и на поэтов иначе как на юродивых никто не смотрел. Не от мира сего...

Впрочем, иногда их приближали к трону. Для забавы, конечно, в качестве умных шутов. Таковыми были Третьяковский, Державин, Жуковский, Пушкин, Тютчев... Ну а поэты ерепенились, упирались как могли, отстаивали своё человеческое достоинство. Михайло Васильевич Ломоносов, помнится, заявил своему чванливому и самодовольному патрону, что шутом и у Самого Господа Бога быть не желает. Получилось, что оного сановника с Всевышним сравнил. Опять-таки смешно...

А поэтам по наивности представлялось, что они и нравственно влияют на своих повелителей, и воспитывают их. На самом

же деле и шутами были неважными. Хороший шут не хуже собаки настроение хозяина чувствует. Когда нужно, умеет и польстить. Нет, всё-таки не шуты, а юродивые — и так же нищи, и у толпы, потешающейся над ними, на иждивении пребывают. Хотя случается толпе и горькие страшные обличения от них выслушивать, причём с благоговейным ужасом.

Между тем порвав с православием, лишилась власть и благодушного взгляда на юродивых. Не умилялась и нездешним откровениям поэтов. Тут уже и всякое перо возвышенное идеологическими путями постарались повязать. И на вдохновение творческое — серп и молот, как магическое заклятие, положили...

Но ведь суть подлинной поэзии и состоит в её полной свободе, когда поэт в жизни и творчестве подчиняется только высоким наитиям. Убивать? Но сделать это тихо, незаметно слава их немереная мешает. А до славы они и властям неизвестны, и не нужны никому. Одно спасает: очень уж у них натуры тонкие, деликатные. Надавишь тут, прижмёшь там, поглумишься над сердечными, глядишь, сами головы свои светлые в петлю сунули, или маузер к сердцу приставили и — ба-бах!

С Цветаевой получилось чуть сложнее. Упиралась, жила. Держалась и душою измученной, и плотью исстрадавшейся. То ради любимого мужа, то ради обожаемого сына. Однако тоже этих силков небесных — петли — не минула... Разумеется, добровольно.

И уж совсем упорными оказались Пастернак, Ахматова, Мандельштам. Жили и жили, писали и писали. Но и этих — от одной травли до другой, от одного инфаркта до другого — тоже допекли. Правда, к самому оптимистичному, самому живучему из них, Осипу Эмильевичу, пришлось более жёсткие меры применить: и физическое воздействие, и ссылку, и лагерь...

Коммунистический террор, уничтожавший поэтов — одного за другим, совершал свой привычный обратный отсчёт: «Трое... двое... одна... ни одного...» И то сказать, ведь любому тоталитарному режиму, на социализме будь основан или на фашизме, нужны солдаты, и только солдаты.

А юродивые? Ни к чему!

Но и когда поэты нашли последнее успокоение: кто на Ваганьковском кладбище в Москве, кто в братской могиле под Владивостоком, кто на «Литературных мостках» под Петербургом, кто в Елабуге, — звучит прежняя цифра, разве что с другим местоимением: «Их четверо...»

И это — уже навсегда!

## «ЛЮБЛЮ ЭТУ БЕДНУЮ ЗЕМЛЮ...»

### ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ



Кажется, не было среди крупных русских поэтов человека более противоречивого и натуры в житейском смысле более несуразной, чем Осип Эмильевич Мандельштам. В его характере душевная мягкость сочеталась с мужеством; скромность, доходящая до самоуничтожения, легко сменялась самой вызывающей дерзостью; а

тщедушное телосложение оборачивалось спартанской выносливостью и неприязательностью аскета. Такой человек не мог не выглядеть чудаком, и выжить в стране, столь резко и определённо поделившейся на красных и белых, ему едва ли представлялось возможным.

Родился поэт 3 января 1891 года в Варшаве, в среднебуржуазной еврейской семье. Отец, Эмилий Вениаминович, занимавшийся выделкой замши, был ещё и доморощенным философом, которого в силу его косноязычия никто не понимал. Цитаты из Руссо, Спинозы, Шиллера, приводимые словоохотливым кожевником, только подчёркивали очевидную бессмыслицу его самостийных рассуждений. А между тем тяга к мировоззренческим вопросам одолевала его едва ли не с детства.

Было и такое, что 14-летний Эмилий, прочимый родителями в равнины, вдруг сбежал в Берлин и там вместо талмуда увлёкся философией да поэзией. Вернулся, конечно. Пришлось. Зато и в перчаточной мастерской, и на кожевенном заводе многоре-

чивый Эмилий Вениаминович не однажды повергал клиентов в ужас своими проповедями во славу французских просветителей.

Мать будущего поэта пугалась не слишком понятных рассуждений мужа и старалась оградить от него детей. Сама же Флора Осиповна, в девичестве Вербловская, была интеллигентна, культурна и доводилась родственницей С.А. Венгерову, историку русской литературы. В противоположность супругу, она владела чистой и ясной русской речью.

Разительным несходством родителей, очевидно, и объясняется парадоксальность натуры их старшего сына. Можно сказать, что Осип оказался чем-то сродни их семейной библиотеке, о которой впоследствии написал:

«Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, неслучайно отлагалась десятки лет. Отцовское и материнское в ней не смешивалось, а существовало розно, и, в разрезе своём, этот шкафчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови».

Можно сказать, что и сам поэт оказался итогом «духовного напряжения целого рода», а «прививкой к нему чужой крови» явилась великая русская литература.

В 1894 году семья переехала в Павловск, а ещё через три года в Петербург. Воспитанная в русских интеллигентских традициях, Флора Осиповна и гувернёров для детей нанимала, и за чтением их следила, и любовь к искусствам насаждала. Особенно к музыке, ибо сама была превосходной пианисткой.

И уже брезжила Осипу вполне благополучная будущность интеллигентного, солидного буржуа. Тем более что основы начального и среднего образования юноши закладывались в Тенишевском коммерческом училище, в котором он обучался с 1900 по 1907 год. Однако уже тогда было в Осипе нечто не укладывающееся в благопристойные рамки родительских планов. Где-то под спудом уже бурлили в нём и отцовская невыговоренность, и стремление сказать своё слово.

Впрочем, коммерция значилась только на вывеске Тенишевского училища. Скорей всего именно эта вывеска и убедила Осиных родителей поместить туда своего ребёнка. На самом деле, это был едва ли не лучший по той поре питомник Муз, обладающий собственной обсерваторией, экзотической оранжереей, двумя библиотеками. Достаточно вспомнить, что среди его выпускников числились такие «коммерсанты», как В.В. Набоков и В.М. Жирмунский.

И было Тенишевское училище столь же удивительным учебным заведением, как Царскосельский лицей в пушкинскую пору. Великолепно оборудованное, с прекрасно подобранным преподавательским составом да к тому же свободное от оценок, экзаменов, академической долбёжки! Публичные лекции, экскурсии, собрания Литературного фонда, заседания Юридического общества, свой журнал. Вот, кроме занятий по расписанию, привычный обиход и круг существования этого училища.

Не к античным ли традициям Афинской школы восходили интеллектуальная и личностная свобода его учащихся и педагогов? Не в его ли стенах проросли первые семена российской демократии, для осязаемого развития которой XX столетия оказалось мало?

До чего же этот учебный либерализм оказался в масть близящимся революциям и гражданскому хаосу. И куда после таких лицеев и училищ пойдёшь? Или на Сенатскую площадь — с декабристами, или на Дворцовую — с вооружённым пролетариатом. В зависимости от указующего перста вождей...

Ещё время только подходило к 1905 году, а Россия уже кипела настроениями бунта и мятежа. Всеобщая заряженность на восстание прорывалась и в «непревзойдённом безумии великопостных концертов Гофмана и Кубелика в Дворянском собрании». Даже холодное мастерство этих двух исполнителей, даже рояль и скрипка были способны привести в ярость толпу, готовую разворотить и кресла, и эстраду — настолько взрывоопасен был воздух самых первых лет кошмарного века.

Диво ли, что в старших классах Осип увлёкся эсеро-народническими идеями и поэзией. Ну а по окончании училища попытался вступить в боевую эсеровскую организацию. Не приняли: мал ещё...

А вот со стихами получилось складнее. В.В. Гиппиус — поэт, преподававший в Училище словесность, — сумел так духовно подчинить себе и увлечь юношу, что его незримое влияние Мандельштам ощущал и впоследствии. Более того: на всю дальнейшую жизнь вкус и предпочтения учителя стали главным поэтическим камертоном ученика.

Если родители Осипа Эмильевича первое время не противились его стихотворству — кто в юности не писал? — то революционные наклонности сына обеспокоили их настолько, что мать поспешила услатить его на учёбу за границу, подальше от охваченной смутой России.

Можно не сомневаться, что приволье самостоятельной жизни пропитало молодого человека ещё большей независимостью и свободолобием. Он не только слушал лекции в Сорбонне, не только проходил курс романской филологии в Гейдельберге, но не преминул посетить и парижские выступления знаменитого террориста Бориса Савенкова. Предпринял Мандельштам поездки и к Швейцарским озёрам, и в курортно-музейную Италию.

Впечатления этой поры ещё не однажды отзовутся в стихах поэта: и Париж, и Рим, и Средиземное море, и вся многосложная европейская культура, с её архитектурой, живописью, музыкой и поэзией. Промелькнут в его строках и характерные интонации полюбившихся Мандельштаму французских символистов, но очень скоро исчезнут, растворятся в неповторимом звучании его собственного голоса.

Наибольшее влияние на Осипа, по его собственному признанию, оказали стихи не слишком известного, но чрезвычайно оригинального и тонкого поэта Иннокентия Анненского. К нему юноша однажды и прикатил на велосипеде, прихватив тетрадку своих стихов. Познакомившись с её содержанием, Анненский, чей поэтический талант окреп в переложении на русский язык

творений Еврипида, посоветовал начинающему стихотворцу тоже заняться переводами.

Увы, поэты в столь раннем возрасте ищут не советов, а признания. Мандельштам пренебрёг наставлениями кумира и продолжил поиски. Следующий адрес, по которому направился юноша, была квартира Дмитрия Ивановича Мережковского, уже весьма знаменитого писателя. Но тут его даже за порог не пустили. Вышедшая на звонок Зинаида Николаевна Гиппиус, жена писателя и сама видная поэтесса, поинтересовалась фамилией визитёра и сказала, что не слышала о таком, но, если стихи его чего-то стоят, о нём обязательно заговорят, и тогда милости просим.

Несколькими годами раньше не лучше был встречен тут и Николай Гумилёв. Поддержавшие при первых шагах Александра Блока, благоволившие к Андрею Белому, Мережковские, похоже, уже исчерпали свой интерес к поэтической смене. По крайней мере к будущим акмеистам замечалось у них почти инстинктивное огульное пренебрежение.

Конечно, пришло время — и о Мандельштаме заговорили, но к ним, даже приглашаемый Зинаидой Николаевной, он более не заглядывал. Тем не менее Гиппиус впоследствии всё же выказывала к молодому поэту настолько явную благосклонность, что почтенные литераторы из её окружения называли его «Зинаидин жидёнок».

Теперь же юношу, пишущего, но не находящего реальной поддержки, мучил простой и естественный вопрос — поэт он или нет? Вот Флора Осиповна, убеждённая, что — не поэт, и надумала, как освободить сына от вредных иллюзий, и предприняла демарш, делающий честь её педагогической смётке и светлому уму.

Прихватив упиравшегося Осипа, она явилась к редактору журнала «Аполлон», выложила перед ним всё ту же злосчастную тетрадку и решительно потребовала дать заключение: талантлив её мальчик или нет, продолжать ему бумагомарание или заняться отцовским ремеслом — выделкой замши?

Редактор, Сергей Маковский, пробежав глазами несколько стихотворений, уже готов был почтительно-вежливым образом вернуть тетрадку, как вдруг заметил болезненно напряжённое выражение на лице юноши, и, невольно посочувствовав бедняге, выпалил: «Ваш сын — талант!»

Юноша, было съёжившийся в ожидании приговора, мгновенно распрявился, а мать, наоборот — в изумлении замерла. Однако же, быстро нашлась: «Тогда — печатайте!» Пришёл черёд остолбенеть редактору, но, как говорится, — «назвался груздём...»

Увы, родители даже самых гениальных стихотворцев бывают очень медлительны на признание поэтического дара своих чад. Слишком диким и невероятным представляется, чтобы ребёнок, недавно лепетавший «мама» и «папа», вдруг оказался поэтом.

Через несколько месяцев в 9-м номере «Аполлона» за 1910 год появились 5 стихотворений Мандельштама.

Заматерелые символисты встретили публикацию с прохладцей. Не прониклись. А вот молодая литературная поросль оказалась куда отзывчивее на собственную разноголосицу. И легко проникались, и самым искренним образом радовались не только явным открытиям, но и каждому свежему образу, каждой удачной строке друг друга. Да и держаться старались вместе, сбиваясь в кучки, именуемые «творческими группами».

А возможностей для общения у поэтического молодняка, пришедшего в российскую литературу в начале десятых годов, имелось предостаточно. По пятницам встречались в журнале «Гипербореи» у Лозинского, по средам — на Башне у Вячеслава Иванова. Но чаще всего сходились в кафе «Бродячая собака», название которого намекало на божественный характер его завсегдаев.

Шутки, смех, болтовня, звяканье посуды.

Из-за постоянного шума и гвалта стихи читать тут не полагалось. Когда же Владимир Владимирович, понадеявшись на горловую мощь, попытался нарушить традицию, начавшееся

стихоизвержение остановил Мандельштам: «Маяковский, перестаньте. Вы же не румынский оркестр».

Но, пожалуй, и румынскому оркестру было бы мудроно перекрыть этот содом.

Немудрено, что общение с такими энциклопедически эрудированными людьми, как Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов, заставляет юношу подумать о собственном образовании. Кое-что удалось ухватить за рубежом, но Сорбонна более запомнилась знакомством и дружбой с поэтом Николаем Гумилёвым, а Германия органной музыкой величественных соборов. Хорошо бы продолжить учёбу в университете. Да как туда попасть? И аттестат неважный, и вездесущая квота на евреев...

Осип Эмильевич решает креститься и в 1911 году совершает для этого необходимый обряд на Выборге, в Христианской методистской церкви, после чего тут же поступает на Романогреческое отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Учится в течение двух лет не слишком блестяще и вылетает, срезавшись на экзамене по греческой литературе.

Но, как говорится, — «мудрому достаточно». Ведь уже и тремя европейскими языками владеет в совершенстве — французским, английским, немецким. И друзья у него умные, знающие. Прекрасная основа для самообразования. Остальное доберёт как бы между делом, следуя всегда безошибочному в этом смысле поэтическому инстинкту.

Между тем Мандельштам всё больше сближается с Гумилёвым и прочими юными авторами «Аполлона». Толкуют о путях развития русской поэзии, спорят, занимаются в «Академии стиха» Вячеслава Иванова. Впрочем, эта «Академия», руководимая одним из главных теоретиков символизма, уже не способна удовлетворить молодые таланты, нацеленные на собственный поиск.

А тут ещё и сам руководитель допустил промашку, учинив разнос несомненно удачному стихотворению Гумилёва «Блуд-

ный сын». Переглянулись между собой слушатели и решили: нет нам части среди символистов, — и, порвав с «Академией», организовали свой «Цех поэтов», в котором вскоре вызрела идея нового литературного направления — «Акмеизм».

Думал Вячеслав Иванович слегка вразумить, урезонить поэтов, только-только начинающих подавать собственный голос, а получилось — с гнезда спугнул! В небо выгнал! Поставил на крыло!

Кого попало приглашать в акмеисты Николай Степанович Гумилёв не стал, не принизил начинания. Только самых боеспособных: Мандельштама, Ахматову, Городецкого, Зенкевича и Нарбута. Уж больно противник авторитетный — символисты. Впоследствии, когда отбор продолжался уже усилиями времени, и Городецкий оказался среди акмеистов человеком посторонним, и Зенкевич с Нарбутом — случайными людьми, толком не разобравшимися, с кем и для чего свела их модная игра в литературные течения.

В 1913 году в издательстве «Акме», принадлежавшем ново-рожденной группе, вышел первый сборник Осипа Эмильевича — «Камень», напечатанный за счёт автора. Тираж невелик — всего триста экземпляров, но стихи, его составлявшие, не в пример символистской зауми, были весомы и конкретны:

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,  
Души готической рассудочная пропасть,  
Египетская мощь и христианства робость,  
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,  
Я изучал твои чудовищные рёбра, —  
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй  
И я когда-нибудь прекрасное создам...

(«Notre Dame»)

Символисты сразу догадались, в чей огород этот «Камень», и отнесли к автору почти враждебно.

Впрочем, Александр Блок, полагавший, что «Акмеизм» как явление меньше «Футуризма», всё же выделял среди «непроглядно-серой массы акмеистов» Ахматову и Мандельштама. Но при этом считал большим недостатком последнего, что его стихотворения лежат «в областях искусства только».

Брюсов же вовсе не благоволил к Осипу Эмильевичу, и даже был случай явного издевательства над молодым поэтом. Как-то Валерий Яковлевич пригласил его к себе и долго расхваливал, зачитывая как бы принадлежащие Мандельштаму, а на самом деле чужие учёные стихи с латинскими цитатами. Поэт почтительно выслушал глумливые дифирамбы именитого коллеги, поблагодарил и ушёл.

Он не только уважал старших поэтов, но и относился к ним с почти мистическим благоговением. Как, пожалуй, и следует в пору ученичества, ибо пока ещё поэзия Осипа Эмильевича не стала ни прорывом к жизни, ни способом воздействия на неё. И самые дерзкие мечты поэта пока не простирались дальше чисто эстетических устремлений: «...из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». Для большего он ещё не созрел ни нравственно, ни интеллектуально.

Однако творческая незрелость не помешала и ему последовать тогдашнему поветрию чуть ли ни всех молодых поэтов: Осип Эмильевич пишет свою декларацию «Утро акмеизма», в которой провозглашает собственные поэтические постулаты и аксиомы: «Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма». Умно, очень умно; только почему бы и прочим «...истам» так ни любить «существование вещи»? Что мешает? И при чём здесь литература?

Разумеется, наряду со статьями Гумилёва и Городецкого, и этот опус мог бы появиться в том же «Аполлоне». Не появился. Не иначе, старейшины, «синдики» воспрепятствовали. Всё-таки Мандельштам был всего лишь рядовым «цеховиком», и провоз-

глашать новые направления в поэзии ему не полагалось точно так же, как во время цеховых сборищ восседать в мягких креслах.

А вот Эмилий Вениаминович, в одном лице — доморощенный философ и отец поэта, думаю, порадовался бы таковым сентенциям сына, разумеется, если бы тот догадался посвятить его в свои теоретические разработки. Однако, увы, перед кем угодно, только не перед ближайшими родственниками любит пофорситься и покрасоваться самолюбивая молодёжь. И лишь потому, что помнит, как перед мамою и папой совсем недавно восседала... на судах, предназначенных отнюдь не для плавания. Не погордишься. Вот и получается, что между отцами и детьми непреодолимая стена имеется — бессильное и бесправное младенчество наше.

Филолог, специалист по древним языкам Константин Мочульский, одно время бывший репетитором Мандельштама по греческому языку, оставил в своих записях маленькое, но хорошо протёртое окошко, через которое можно посмотреть на юного поэта в студенческую пору, удивиться его тогдашнему, ещё совсем мальчишечьему обаянию:

«Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: “Я написал новые стихи”. Закидывал голову, выставлял вперед острый подбородок, закрывал глаза, — у него были веки прозрачные как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву.

Читая стихи, он погружался в “аполлинический сон”, опянялся звуками и ритмом. И когда кончал, смущённо открывал глаза, просыпался».

Вот ведь и птицу напоминал, и вёл себя забавно. Чем не повод, чтобы отнестись к юному и пока ещё не очень сведущему

поэту иронически и свысока? Однако мудрость гения определяется не выучкой и даже не возрастом, а духовной погружённостью в трагедию мира. Вот почему Мандельштам уже тогда оказался способен к осознанию явлений, которые оставались тайною и для самых высоколобых его современников.

Так, в своём докладе на смерть Александра Николаевича Скрябина, прочитанном в религиозно-философском обществе, поэт обвинил современную эпоху в том, что она «повернула от христианства к буддизму и теософии» и определил новейшее время, как историческую расплату за таковое отпадение.

И уже не за горами были гранитно-бронзовые Будды красных вождей, а также российская всенародная Голгофа.

Не менее пророчески звучали стихи поэта, воссоздающего антихристианскую сущность Третьего Рима, где булыжник окажется не только оружием пролетариата, но и внутренней сущностью «живых камней», из которых будет созидаться рабоче-крестьянское государство.

В 1915 году Мандельштам выпустил вторую поэтическую книгу, назвав её, как и первую, — «Камень». Этот «Камень» был уже раза в три больше. А его тяжесть свидетельствовала об идолах, довлеющих над обществом, и всё ещё не изжитой бездуховности некоторых стихотворений самого автора:

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять  
Нам незачем богов напрасно беспокоить, —  
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,  
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

(«Природа — тот же Рим и отразилась в нём...»)

Вот Осип Эмильевич и строил, укладывая «Камень» за «Камнем», вот и созидал изумительное здание своей поэзии, год от года становящееся всё совершеннее и совершеннее. И уже между массивными перекрытиями поэтического собора витала нежная и ранимая душа его творца, который и тут не обошёлся

без теории: «Строить — значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство».

Заметим, что Борис Пастернак, может быть более мудрый, предпочитал и в творчестве обходиться без насильственных методов, а посему рекомендовал ищущим успеха поэтам нечто другое — «привлечь к себе любовь пространства».

В заочном споре будущих классиков само пространство и явилось нелицеприятным арбитром, поразив Мандельштама, словно кобра зазевавшегося факира, и явившись прекрасным резонатором для славы Пастернака. Таким образом, любовь оказалась предпочтительнее гипноза.

У прославленных ветеранов русского символизма и второй «Камень» Осипа Эмильевича восторгов не вызвал. Поглядели на сизифов труд своего юного коллеги, покривились, посмеялись, вздохнули и забыли: дескать, пускай себе «камушки» катает.

Совсем иначе воспринимали стихи Мандельштама его поэтические однокашники, такие же дебютанты российского Парнааса, как и он сам. Николай Гумилёв, один из двух «синдиков» в «Цехе поэтов», считал Осипа единственным, «кому удалось вытравить в себе романтика, полностью сохранив поэта».

Ахматову же изумляло полное отсутствие у Мандельштама поэтических корней. По её мнению, он пришёл в русскую поэзию как бы ниоткуда и никогда не был начинающим, но сразу обнаружил в своих стихах зрелое мастерство.

Ну а Марина Цветаева, в щедрости своей и тут не знающая меры, превознесла мандельштамовский дар столь высоко, что назвала его «молодым Державиным». Тоже очень верное наблюдение, особенно если учесть, что Осип Эмильевич не чуждался русской архаики и преклонялся перед благоуханным талантом Константина Батюшкова, одного из младших современников Гаврилы Романовича.

Нельзя не упомянуть, что Цветаеву и Мандельштама, двух чрезвычайно эмоциональных поэтов, одно время связывало нечто вроде взаимной влюблённости. Но благоразумная судьба

развела дороги этих взрывоопасных натур, направив каждого, казалось бы, к своей личной, а на самом деле общей для всей страны трагедии.

Развела она и Ахматову с Гумилёвым. Одноимённые заряды, как известно, отталкиваются. Но, как Ахматовские, так и Цветаевские стихи, обращённые к возлюбленным поэтам, остались. Причём стихи Цветаевой как всегда откровенней, чувственней и адресно конкретнее:

Откуда такая нежность?  
Не первые — эти кудри  
Разглаживаю, и губы  
Знавала — темней твоих.

Всходили и гасли звёзды,  
(Откуда такая нежность?),  
Всходили и гасли очи  
У самых моих очей.

Тут уже не только про любовь, но и про близость — наивысшее её воплощение. А дальше следует упоминание о другом возлюбленном, тоже — поэте...

Ещё не такие песни  
Я слушала ночью тёмной,  
(Откуда такая нежность?)  
На самой груди певца.

(«Откуда такая нежность...»)

Чьи песни «ещё не такие» слышала поэтесса «на самой груди певца»? Претендентов, кажется, немного. Может быть, Волошин? Но куда его песням до Мандельштама. Сухие, риторичные, деланные...

А чем отдалился Осип Эмильевич на цветаевские посвящения? Увы, поэзией, и — только:

На розвальнях, уложенных соломой,  
Едва прикрытые рогожей роковой,  
От Воробьёвых гор до церковки знакомой  
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки  
И пахнет хлеб, оставленный в печи.  
По улицам меня везут без шапки,  
И теплятся в часовне три свечи.

(«На розвальнях, уложенных соломой...»)

Чего только нет в этом стихотворении: и Рим, и Москва, и Углич, и хлеб, и свечи, и рогожи... И ни слова, ни полслова о прекрасной гениальной женщине. Но это ещё что! Совсем недавно влюблённый в Анну Михайловну Зельманову-Чудовскую и единой строки не смог выдать из себя поэт в адрес красавицы-художницы, с таким глубоким чувством написавшей его портрет с закинутой назад головой.

Увы, мальчики созревают медленнее девочек. И вообще мужчины в любви скупее и на чувства, и на стихи. К тому же Осип Эмильевич в ту пору ещё не научился переключать свои амурные переживания на язык поэзии.

Зато умел дружить. Как-то, увидев на Невском проспекте раздетую даму, сказал сопровождавшему его приятелю: «Давай отнимем у неё всё это и отдадим Анне Андреевне».

А вот сама Ахматова, упомянутая в этом, конечно же, шуточном разговоре, поначалу относилась к Мандельштаму несколько настороженно. И, опасаясь, как бы Осип Эмильевич не влюбился в неё, попросила его приходить реже: мол, что люди подумают. Поэт обиделся и очень долго не появлялся совсем. А потом показался уже с женой. Демонстративно.

Соломея Андроникова была, пожалуй, первой женщиной, безнадежная любовь к которой обрела в стихах Мандельштама вполне лирическое звучание, и то лишь благодаря своему

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)